

СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО, ЗАБУДЬТЕ

«И был в глухих больницах его затерян след...»
(Евгений Винокуров)

21 января 1977 года по зимнему Томску ехал автомобиль. В нем на заднем сиденье сидел мой следователь с хмурым серьезным лицом, а рядом расположился я. На коленях у меня стоял портфель с учебниками и конспектами, в кармане пиджака лежала зачетная книжка студента факультета иностранных языков Томского педагогического института, свидетельствующая о том, что я только что хорошо сдал последний экзамен зимней сессии пятого курса. В этот солнечный январский день, сдав экзамен, я напрямик направился в прокуратуру, так как накануне получил повестку. Видимо, для очередного допроса, подумал я. Несмотря на предстоящую встречу со следователем, настроение у меня было приподнятое. Впереди меня ждали зимние каникулы, поездка домой в родное село. Однако в прокуратуре вместо допроса следователь дал мне ознакомиться с какими-то документами, смысл которых дошел до меня не сразу: «...направить на судебно-психиатрическую экспертизу».

— Зачем?! Вы что, считаете меня сумасшедшим?

— Нет, нет. Этот осмотр — простая формальность, — поспешил успокоить меня следователь.

И все же мне было не по себе. Дикость какая-то! Меня везут в психушку! Я не мог поверить, что со мной сыграют такую злую шутку, до этого были обстоятельные допросы, на которых я отстаивал свои взгляды и право на свободу убеждений. Разве мог я тогда знать, что мне предстоит в ближайшем будущем? Шесть лет мытарств и хождений по мукам в разных закрытых учреждениях для социально опасных больных.

До последних минут в приемном покое во мне теплилась надежда: здесь сразу поймут, что я не нуждаюсь в проверке моей психики, что я рассуждаю здраво и логично. Но дежурный врач даже не стал слушать меня. Переодели в застиранную с заплатами больничную униформу и повели длинными коридорами томской психиатрической больницы. Отделение № 5, где мне предстоит проходить экспертизу, предназначено для буйных, но используется также для подэкспертных лиц и для «принудчиков», то есть тех, кого суд направил на принудительное лечение, поскольку СПЭК (судебно-психиатрическая экспертам комиссия) признала их невменяемыми в момент совершения преступления. Вокруг меня сирот странные люди, погруженные в какие-то собственные фантастические переживания. Все это напоминает театр абсурд».

Мне становится так непереносимо горько и обидно, так унижительно и стыдно, что слезы застилают глаза. Оправившись от первого психологического шока, я сказал себе: главное — не раскисать и не впадать в панику, сохранять спокойствие. В противном случае будет повод объявить меня душевнобольным.

Врачом-экспертом оказалась заведующая отделением, молодая энергичная женщина с литературной фамилией, Тургенева Надежда Петровна. Лицо излучало доброжелательность и участие. Она убеждала меня в том, что в Советском Союзе людей за их политические взгляды не помещают в психиатрические больницы.

— А что касается тебя, Владимир, то и ты тоже не будешь находиться у нас, — заверила меня Надежда Петровна.

Лукавила она или говорила искренне, не знаю. Часто сетовала на то, что ей постоянно досаждают телефонными звонками следователи и сотрудники КГБ, справляются о моем самочувствии. Следователь прокуратуры Цедрик, которому

было поручено вести мое дело, вероятно, рассчитывал раскрыть и уничтожить подпольную антисоветскую студенческую организацию и тем самым сделать себе служебную карьеру, поскольку был молод и честолюбив. Вначале он инкриминировал мне статью 70 УК РСФСР — антисоветская агитация и пропаганда. Максимальный срок по этой статье — семь лет лишения свободы. Затем его энтузиазм поубавился. Подпольной группы не было. Материалы, свидетельствующих об агитации и пропаганде, отсутствовали. Дело рассыпалось. Не было ни запрещенного Самиздата, ни подпольных аудиозаписей, ни связей с зарубежными диверсионными центрами, ни прокламаций.

Обыски проводились в общежитии, в комнате, где жил я, и в комнате моего близкого друга, однокурсника, а также по месту жительства моей матери в городе Бийске Алтайского края. «Уликами» по делу служили рукописи стихов собственного сочинения, старый дневник, который я вел на первом курсе, несколько толстых общих тетрадей с переписанными из библиотечных книг стихами редко издаваемых поэтов: Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Хлебникова, Белого, Рильке, Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной. Подшитыми к делу оказались и мои устные высказывания на семинарах по общественным дисциплинам и на вечере литературного объединения «Молодые голоса» Томского политехнического института. Этот вечер и стал для меня роковым.

В большом лекционном помещении института звучали стихотворения Марины Цветаевой, мало кому известные в то время. Я рассказал о трагической судьбе Цветаевой, эмиграции, возвращении на родину, об аресте и расстреле ее мужа Сергея Эфрона, об аресте дочери Ариадны и родной сестры Анастасии, о ее самоубийстве... В заключение я сказал:

— Цветаева стремилась на родину из опостылевшей ей чужбины, а приехала в страну, где воцарилось новое самодержавие с новым душителем свободы и новым певцеубийцей (я имел в виду погибшего в сталинских лагерях Осипа Мандельштама).

Мне тут же был задан вопрос, из каких источников я почерпнул этот спорный тезис. Я ответил:

— Этот вывод принадлежит лично мне, но вступать в дискуссию я не собираюсь. Затем меня попросили прочитать мои собственные стихи. Выдался уникальный случай впервые перед студенческой аудиторией прочесть свои стихотворения. Одно из них посвящалось памяти чешского студента Яна Палаха, совершившего акт самосожжения в 1969 году в Праге в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками стран-участниц Варшавского договора. Другое посвящалось советским военнопленным, которых из фашистских лагерей этапировали в советские лагеря Сибири и Дальнего Востока. После этого меня опять попытались вызвать на дискуссию. Но я вежливо отказался от обсуждения политических вопросов на литературно-поэтическое вечере, заметив, между прочим, что иначе меня могут обвинить в антисоветской агитации и пропаганде, а затем посадить в тюрьму. Кто-то мрачно пошутил, что если меня посадят, то присутствовавшие на вечере будут носить мне в тюрьму передачи.

Через две недели после вечера в Политехническом институте против меня было возбуждено уголовное дело по статье 70 УК РСФСР.

Вслед за обыском в течение месяца производились допросы. Взяли подписку о невыезде. Следствие зашло в тупик, когда стало понятно, что на антисоветскую агитацию и пропаганду мое дело не тянет. Статью решили переквалифицировать на 190-1 (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй). Основными свидетелями по делу (как я узнал позже) выступили Казанцев Александр, молодой томский стихотворец,

присутствовавший на том роковом для меня вечере (ныне он возглавляет томскую писательскую организацию) и мой однокурсник Ульянов Владимир. Последний, яростный сталинист-ленинец, гордился своим именем и был сыном начальника одного из лагерей ГУЛАГа. Ульянов Владимир часто провоцировал меня на споры.

Когда не хватало аргументов, он восклицал:

— Да что с тобой спорить! Ты же шизофреник!

Кстати, после окончания пединститута Ульянов ушел работать в правоохранительные органы.

В ходе следствия по очереди вызывали на допросы в прокуратуру моих сокурсников. Но ни от кого толком ничего не могли добиться. Перед следствием стояла сложная дилемма: казнить нельзя, помиловать тоже нельзя, но избавиться нужно. Нет человека — нет проблемы. И выход был найден: бороться с инакомыслием с помощью психиатрии.

Студентки, вместе с которыми я учился, волновались и беспокоились о моей судьбе, все-таки я был единственный парень в учебной группе. Они пытались как-то хлопотать, упрямить власти простить меня. Но однажды им жестко заявили: — Не ходите и не просите. Следствие по делу Костина закончено. И вообще забудьте о нем.

Прошел месяц, отведенный на экспертизу. Собралась комиссия, которую возглавлял доцент томского мединститута Миневич. Я зашел в кабинет, ярко освещенный лучами февральского солнца. За столом в темных очках с модной оправой вальяжно восседал Миневич, двумя пальцами он держал неприкуренную сигарету с фильтром, то и дело проводя ее по всей длине у себя под хищным носом и принюхиваясь к ее душистому табаку. У Тургеневой лицо было пунцово-красное, как после горячего спора. На меня она даже не взглянула, сидела молча, отвернувшись к окну.

Беседа длилась недолго. Под конец Минским спросил: — Владимир Константинович, так вы всерьез собираетесь надеть на себя тогу мученика за идею?

На что я ответил:

— Я вовсе не хочу примерять тогу мученика на себя. Это вам выгодно натянуть ее на меня, чтобы выслужиться перед властью предрешающими. Ради обывательского благополучия и карьеры вы готовы упечь человека в сумасшедший дом за инакомыслие.

После комиссии СПЭ Тургенева стала всячески избегать меня и уклонялась от моих вопросов. Одна неделя сменялась другой. Меня продолжали держать взаперти и в неведении. Я с горем пополам привыкал к невольничьей жизни и постигал inferнальные сферы человеческой души, наблюдая воочию живые примеры безумия и распада личности.

В больнице меня свел случай, а может, судьба с Игорем Никитинским, человеком незаурядным, с авантюрным складом ума. Он помог мне освоиться в тягостной атмосфере дурдома. Несмотря на молодость, у Игоря была яркая и богатая биография. О нем была даже статья в томской партийной газете «Красное знамя», когда заядлый битломан и хиппи, регулярно слушавший музыкальные передачи «Голоса Америки» и лихо отплясывавший рок-н-ролл на танцплощадках, неожиданно для всех поступил в ленинградскую духовную семинарию. Статья вышла под заголовком «Битломанам примеряют рясу». Закончив семинарию, Игорь вернулся в Томск и некоторое время служил в одном из действующих храмов города батюшкой. Но он не смог целиком посвятить себя церкви и вел за пределами храма чрезвычайно насыщенную, далеко небезгреховную светскую жизнь: занимался нелегальной в то время коммерцией с

иностранцами гражданами, за что, естественно, попал в поле зрения правоохранительных органов. Был арестован и осужден на семь лет лишения свободы. Отсидел он пять лет, так как было удовлетворено его прошение о помиловании. После освобождения устроился фотокорреспондентом в комсомольскую областную газету «Молодой ленинец». Однако нелегальные коммерческие авантюры не оставил. Дабы ускользнуть от милицейского преследования, он придумал укрыться в психбольнице, благо Н.П.Тургенева была его давней хорошей знакомой. Игорь умел пользоваться связями. У него был дар слагать довольно образные стихи. В психушке он переориентировался на политическую сферу и фактически стал моим единомышленником.

4 апреля суд постановил направить меня на принудительное лечение в больницу специального типа МВД СССР. Об этом я узнал через десять дней, когда за мной приехали два милиционера препроводили меня в томский следственный изолятор № 1. Меня поместили в одиночную камеру № 39. Это была камера смертников, которая в тот момент пустовала. Я бы даже не назвал ее камерой, скорее застенком или узилищем, настолько узкой и тесной она была. Круглосуточно горела тусклая лампочка. В глазок камеры частенько заглядывал надзиратель. В углу почти перед дверью стоял унитаз, воду сливал надзиратель снаружи, поскольку внутри камеры слив не был предусмотрен. Раковины для умывания не было, поэтому приходилось умываться над унитазом, поливая воду из кружки. На завтрак я получал полбуханки очень черного хлеба и малюсенькую ложечку сахара, который после растворения в кружке кипятка не улавливался на вкус. На обед обычно давали кислые щи и кашу-затируху, похожую на какую-то размазню. На ужин была пустая уха из какой-то безвкусной коричневой рыбы. И так изо дня в день.

После двух недель пребывания в одиночке я добился перевода в общую камеру, так называемую дурхату. В общей камере было все-таки не так безнадежно тоскливо и муторно, как в одиночке. Там содержались признанные невменяемыми и ожидающие этапа или отправки в психбольницы по месту жительства для прохождения принудительного лечения.

Это были обычные уголовники из разных городов Сибири. Томская психиатрическая больница была республиканской и имела полномочия проводить экспертизу. Сокамерники отнеслись ко мне почтительно и добились для меня больничного питания, в который входили белый хлеб, кусочек масла, гораздо больше сахара, а на обед к щам полагался кусок мяса. Я и не знал, что мне как признанному невменяемым положен больничный паек.

«На проклятом острове психиатрического ГУЛАГА нет календаря»

Через пару недель после вселения в «дурхату» меня неожиданно выдернули на этап. Произвели «шмон», заставив раздеться догола, выдали путевой паек, состоявший из буханки черного хлеба, небольшого кулечка с сахаром и двух жутко пересоленных селедочек, затолкали в переполненный зэками «воронки» и повезли на вокзал. Там под лай овчарок и крики «руки за спину» погрузили в «Столыпин» — вагон с решетками на окнах и купе без окон. Купе изолированы от коридора вагона фигурной решеткой, в середине каждой решетки решетчатая же дверь. Привезли в Новосибирск, там в тюрьме я вновь оказался в «дурхате». Через сутки опять выкликают на этап, опять «шмон», «воронки», крики «руки за спину», лай овчарок, пробежка через строй конвойных в столыпинский вагон, рассадка по купе, в которые набивали по пятнадцать человек. Лежачие верхние полки, включая полки для багажа под самым потолком, заняли самые шустрые и бывалые, мне досталось одно из нижних мест. Рядом со мной еще три человека,

на нижнем сиденье напротив тоже четверо. Из Новосибирска до Алматы мы ехали около трех суток. Там нас опять погрузили в «воронки» и повезли в алма-тинскую тюрьму, где мы должны были ожидать наряд в спецбольницу. Но тюрьма была переполнена и нас не принимала. В душном «воронке» невозможно ни повернуться, ни присесть на корточки, настолько тесно. Местные тюремные чины категорически отказались принимать этапированных и настояли на том, чтобы конвой вез «дураков» прямо в Алексеевку, спецпсихбольницу МВД рядом с поселком Алексеевка (по-казахски Актас) недалеко от города Талгар. Когда распахнулась дверь «воронка», мы уже были на территории спецпсихбольницы, в учреждении ЛА/155/7.

Высыпав наружу, мы увидели множество зеленых насаждений, а вдалеке — живописные хребты Алатау. После тюрьмы, столыпинского вагона, «воронков» нам показалось, что мы очутились на курорте. Сдали все наши личные вещи и облачились в больничную униформу. Я попал в отделение №13, начальником которого был офицер МВД капитан Зенер Феликс Серафимович. Ему было лет тридцать, смуглое холерное лицо, высокий лоб, густая темная волнистая шевелюра, горделивая осанка и неторопливая важная походка. Отделением № 13 пугали: «Вот попадешь к Зенеру, он тебя залечит».

В психиатрических больницах не существует системы наказания как таковой. Там «не карают, а лечат», но методы лечения можно охарактеризовать как садистские и изуверские. В ходу галоперидол, аминазин или модитен депо. Лечение этими нейролептиками — инквизиторская пытка. От галоперидола накатывает смертельная тоска, утрачивается интерес к жизни, он вызывает скованность мышц и обильное слюноотечение, затем начинает вываливаться язык, закатываются глаза, а мышцы спины, живота и лица сводит судорогами, которые можно остановить внутривенной инъекцией кофеина с барбиталом — сильнейшим релаксантом. А от такого варварского «лекарства», как сульфазин (взвесь серы в персиковом масле), инъекции которого делают в четыре точки — две под лопатки и две в ягодицы, температура тела поднимается до 40 градусов, а места уколов чудовищно болят. Модитен депо превращает человека в подавленное примитивное существо, не способное справиться естественную нужду, и поэтому пациент ходит под себя.

Зецер Феликс Серафимович широко применял эти «лечебные» препараты в воспитательных целях за малейшую провинность — либо курс аминазина в уколах, либо галоперидола в таблетках или внутримышечно, а зачастую и сульфазинотерапию. Он был царь и бог у себя в отделении. Нередко в ответ на просьбы отменить или хотя бы снизить лошадиные дозы лекарств он приказывал санитарам привязать бедолагу к койке, чтобы не надоедал своими жалобами. Санитарами были обычные уголовники, которых привозили для работы в спецбольнице. Ведь спецбольница представляла собой ту же зону — с высоким двойным забором, сигнализацией, вышками, охраной. Охрана — автоматчики с собаками, врачи — офицеры МВД. Всюду решетки, колючая проволока, запоры на дверях. Фактически это «психотюрьма». Санитарам разрешалось применять к «принудчикам» меры физического воздействия. Они могли избить, испинать ногами, а затем затащить в Процедурку и сказать медсестре, чтобы та вколола аминазин. Если сопротивляешься уколу, тебя скручивают два санитаря, а медсестра всаживает иглу.

Жаловаться бесполезно. Бывали случаи, когда «принудчик» (больной, проходящий принудительное лечение) в результате сильных побоев испускал дух, а санитары отделялись порицанием или выговором. Срок им не набавляли, а умершего просто списывали. В спецпсихбольнице у «принудчика» нет определенного срока. Никто не знает, когда его выпишут, может, через полтора

года (это минимум), может, через 5 или 15 лет. Или никогда. Хотя каждые полгода проводились врачебные комиссии, выписывали редко. Чаще автоматически продлевали принудительное лечение еще на полгода.

Политических узников в Алексеевке было немного, в основном их держали в Казанской спецбольнице, куда собирались отправить и меня, когда я ждал этапа в томском следственном изоляторе. Мне так и говорили: «Поедешь в Казань». Но пришел наряд на Алексеевку, и меня спешно этапировали туда.

Спецбольница в Алексеевке считалась по тем временам экспериментальной, так как в отличие от прочих подобных учреждений в ней впервые отказались от камерной системы содержания принудбольных и ввели палатную систему. С камер снимали массивные двери с глазками и залогами, а вместо них навесили двухстворчатые деревянные двери без глазков. В остальном же она мало чем отличалась от традиционных психотюремных спецучреждений: строгий тюремный режим, «шмоны», решетки на окнах, постоянный надзор со стороны младшего медперсонала, санитаров, уколы в качестве наказания, привязывание к койкам и т.д.

Контингент всех спецбольниц одинаков. Публика довольно разношерстная. В основном уголовники с диагнозами: убийцы, насильники, грабители, воры, бандиты и мошенники. В таком окружении я провел почти пять лет. Однообразие нескончаемых будней «спецухи» приводит к потере ощущения реального хода времени. Время обесценивается, становится бесполезным и бессмысленным, равно как и жизнь в этом времени.

После моего отбытия из томской психбольницы в СИЗО-1 для ожидания этапа на «спецуху» Игорь Никитинский, с которым я познакомился в психиатрической больнице (см. № 37) решил выступить в мою защиту и написал несколько писем по разным международным адресам: на «Голос Америки», «Немецкую волну», радио «Свобода» и другие. Он договорился с молодой медсестрой, чтобы она эти письма отпечатала на машинке и отправила. Я предполагаю, что письма эти до адресатов не дошли, их, вероятнее всего, перехватили бдительные «гэбисты». Не думаю, что кто-нибудь узнал обо мне тогда на Западе. Зато здесь узнали об Игоре Никитинском. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и постановлением суда он был направлен в спецпсихбольницу на принудительное лечение.

Случайно я встретил его в конце февраля 1978 года, когда санитар вел меня к врачу-терапевту, кабинет которого находился в здании административного корпуса. Игоря тоже куда-то вели. Он окликнул меня, а я не мог поверить, что передо мной Игорь, с которым я успел крепко подружиться за два с небольшим месяца. Сильно исхудавший, остриженный наголо, как и я, он имел очень жалкий и невзрачный вид. Но остался по-прежнему оптимистом и тут же начал подбадривать меня, чтобы я не раскисал, не падал духом, продолжал верить и надеяться на избавление. Нам не дали поговорить. Игорь крикнул мне вслед, что пришлет записку. Через пару дней мне передали «ксиву» от Игоря. Я тоже отправлял ему записки через «принудчиков», которых отпускали в сопровождении санитаров на работу в швейный цех. В одном цехе трудились «принудчики» из разных отделений, поэтому нетрудно было поддерживать внутрибольничную переписку. В последней записке Игоря было стихотворение, которое оказалось предсмертным, в нем было предчувствие неминуемой гибели... Я до сих пор храню этот маленький клочок тетрадного листа.

Через несколько дней ко мне подошел один из «принудчиков», работавших в швейном цехе: «Это ты друг Никитинского Игоря?» «Да», — ответил я. «Ты только сильно не волнуйся. Твоего друга больше нет в живых. Я тебе очень и очень сочувствую». Я был ошарашен этим известием и весьма подавлен. Постепенно

мне стали известны некоторые подробности. Он был убит ночью, спящим. Убийцей оказался его сосед по палате, «принудчик», который имел свободный выход на территорию спецбольницы, так как по профессии он был слесарь-сантехник и ремонтировал по всей спецбольнице санузлы. Непонятен был мотив убийства. Слесарь ухитрился пробраться в стоматологический кабинет и выкрасть скальпель, который он воткнул в висок спящего Игоря. Говорили, что после этого сантехнику целый месяц запрещали выходить из отделения и кололи какие-то уколы. Затем он снова приступил к своим обязанностям и свободно расхаживал по территории больницы без всякого сопровождения. Однажды я в сопровождении санитаря отправился получать посылку из дома в административный корпус и встретил его. «Слушай, — спросил я, — за что ты завалил Игоря Никитинского?» «А тебя почему это интересует?» — задал он встречный вопрос. «Я из Томска, а Игорь был моим близким другом», — ответил я. Сантехник ничего не сказал, лицо его странно исказилось, неожиданно он развернулся и побежал от меня. Я растерянно стоял и смотрел ему вслед... Для меня так и осталось загадкой, была ли то роковая случайность, и Игорь оказался невольной жертвой помутнения рассудка соседа по палате, или же он был убит по «заказу» органов ГБ. Ведь очень легко все списать на социально опасную больную психику убийцы, тем более в психиатрической больнице. Я понял, что и мне может угрожать такая же опасность. Я осознавал себя заживо погребенным в этой психиатрической ловушке. Мне рассказывали, что в других отделениях есть политические, которые отбыли на принудлении уже по 8 или 12 лет, и отпускать их вовсе не собираются.

В нашем отделении были еще трое «антисоветчиков», постарше меня, вполне нормальные люди, двое с высшим образованием. Хорошим собеседником на прогулках в вольере, огороженном металлической сеткой, оказался Жердев Виктор Петрович, врач-терапевт из Кызыла (Тувинской АССР). Его упрятали в психушку за требование гласности в отношении злоупотреблений и преступных действий, которые допускались органами МВД Тувинской АССР и были вскрыты прокуратурой, но замалчивались перед общественностью. Прекрасной души человек, Виктор Петрович излучал оптимизм и бодрость духа, по утрам обязательно делал зарядку. В свободное время осваивал с моей помощью школьный курс английского языка. Остальные двое тоже угодили в спецпсихбольницу за критику местных властей или местного начальства. Они пострадали «за правду», так что «антисоветчиками» были номинально, по 190¹, поскольку местные чинуши отождествляли себя с советской властью и любую критику в свой адрес объявляли «антисоветчиной». Они не были диссидентами в прямом понимании этого слова, не занимались политической или правозащитной деятельностью. Диссидентами их сделала сама система. Они просто были честными гражданами, не умеющими прогибаться перед властью предрержащими и лгать ради карьеры и благоустроенной квартиры. Никто из них не имел в виду заработать себе на правдоискательстве политический капитал на Западе. О них не сообщали по «вражьи́м голосам», никто не выступал в их защиту, им не посвящали свои статьи заграничные эмигрантские газеты, за них не хлопотала «Эмнести Интернэшнл», им не присылали продуктовые посылки из фонда помощи политзэкам. Сколько таких безвестных узников совести томилась на проклятых островах психиатрического ГУЛАГа?!

От «принудчиков» с уголовными статьями можно было услышать: «Мы знаем, за что сидим, а ты? Тебя-то за что здесь заперли? За какие-то стишки, за слова? Нас — за дело, а тебя-то за болтовню. Так ты гордись, — шутили они. — Тебя, маленького, щупленького, боится государство, вооруженное до зубов, с космическими ракетами и миллионной армией. Видишь, куда тебя запрятало!»

Вряд ли такие слова могли служить мне утешением. Я вспоминал, как еще в 10-м классе у меня состоялось первое свидание с КГБ. Директор школы снял меня с урока физкультуры и повел в райком партии. В кабинете второго секретаря меня поджидали двое сотрудников КГБ (кто это, я узнал чуть позже). Появление щуплого подростка их обескуражило, мой вид не сочетался с их представлением обо мне как о «матером вражине» (как впоследствии признался один из них). Они долго и недоуменно разглядывали меня, прежде чем начали задавать свои вопросы.

Визит кагэбэшников в райцентр Зырянское за 100 с лишним километров от Томска был вызван двумя моими письмами в «Комсомольскую правду». Одно письмо представляло собой сочинение на всесоюзный конкурс, организованный «Комсомольской правдой», на тему «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Другое — отклик на статью в газете о присуждении Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну якобы из конъюнктурных политических соображений, а не за художественные достоинства его произведений. В конкурсном сочинении я подробно обосновал, что у партии нет ни ума, ни чести, ни совести, и заклеил ее позором. В отклике на статью я выступил в поддержку присуждения Нобелевской премии Солженицыну и выразил полное несогласие с оценками автора статьи в отношении Нобелевского комитета. Мои письма (отправленные мной под псевдонимом) быстро оказались в Томском УКГБ. Гэбисты решили, что им придется иметь дело с отъявленным антисоветчиком. Беседа длилась около шести часов. Угрозы были нешуточные: исключение из школы, мне детская воспитательная колония и тюремный срок моей матери. «Откуда у советского школьника такие "чудовищные" взгляды?» — вопрошали серьезные дяди из областного КГБ. Я объяснил, что с седьмого класса интересуюсь международными событиями, в классе являюсь главным политинформатором и выпускаю по собственной инициативе стенгазету «Бюллетень политинформации», куда помещаю вырезки из газет о наиболее интересных и актуальных событиях за рубежом и в нашей стране. Слушаю западные радиостанции на русском языке и сравниваю с передачами всесоюзного радио.

Я рассказал, что раскопал в старых журналах «Нового мира» рассказы Солженицына и что огромное впечатление на меня произвела повесть «Один день Ивана Денисовича». Я читаю «Литературную газету» и «Комсомольскую правду» и не согласен с тем, что в этих газетах пишут о Сахарове и Солженицыне. Меня подвергли серьезной идеологической проработке. Используя приемы контрпропаганды, говорили, что я попал в сети антисоветских идеологических диверсантов из-за рубежа, которые сбивают с толку нашу незрелую молодежь. Чтобы поскорее избавиться от этих грозных визитеров, я не стал упираться и признал свою «неправоту», юношескую «незрелость». Они заставили написать объяснительную и взяли с меня обещание не слушать «вражьи голоса», но в любом вопросе руководствоваться «классовым подходом», а также почаще читать первоисточники марксизма-ленинизма.

Были еще профилактические беседы с сотрудниками компетентных органов, когда я уже учился в пединституте. Несмотря на данные обещания, я продолжал интересоваться политикой, ловил в эфире западные радиостанции. Нередко я выступал на семинарах по общественным наукам и оппонировал преподавателям. Я задавал сложные и неудобные вопросы, не упускал возможности высказать свою точку зрения на комсомольских собраниях или вступал в дискуссию с каким-нибудь студентом или комсомольским вожаком.

Однажды я поспорил с куратором моей учебной группы, парторгом факультета Поротовой Тельминой Ивановной. Спор зашел о сталинских репрессиях и о

замалчивании их масштабом. Тельмина Ивановна выступила в защиту Сталина и начала говорить о его заслугах. Я же — о кровавых злодеяниях, о миллионах жертв сталинского режима. Через несколько дней меня вызвали на заседание деканата, на котором Поротова поставила вопрос о моем исключении из института, мотивируя это тем, что я имею взгляды, «несоответствующие взглядам советского студента, будущего советского учителя». Кто-то предложил направить меня на один год «для перевоспитания» в рабочую среду, на завод. Другие усомнились, что работяги, нередко склонные к пьянству и ненормативным выражениям, положительным образом повлияют на меня. Сошлись на том, чтобы передать меня «на воспитание» органам госбезопасности, тем более что они курируют меня со школьной скамьи, «Кураторы» из КГБ были весьма раздосадованы и беседовали со мной в очень жесткой форме. Зачитали мне статьи из Уголовного кодекса а также комментарии к нему. Опять твердили о «первоисточниках» и «классовом подходе», потом взяли с меня объяснительную и объявили, что выносят мне последнее предупреждение и больше со мной нянчиться не собираются. И они сдержали свое обещание. Впоследствии меня «перевоспитывали» психиатры...

Начальник 13-го отделения Зецер был по долгу своей службы главным «куратором» моей «заблудшей» души и ее инквизитором. В беседах со мной он постоянно лукавил, играл, как кошка с мышкой. Я платил ему той же монетой. Он начинал гнать антисоветскую волну, я в ответ выражал полную лояльность советскому режиму и никак не поддакивал его мнимой оппозиционности. Тогда он обвинял меня в том, что я повторяю «затасканные штампы советской пропаганды». Подняв вверх указательный палец, он вдруг ехидно заявлял: — Ведь ты, Костин, опасный преступник, государственный преступник.

Иногда Зецер пускался в философские рассуждения:

— Ну что ты так жалеешь о времени, которое здесь проводишь? Ты же ничего не теряешь. Ты мучаешься здесь, в больнице, я мучаюсь там, на воле. Какая разница? Думаешь, я что-то приобрел там, за этим забором? Ничего! Ну и что, что проходят годы? Сидишь здесь и сиди себе. Зато когда выйдешь, какой богатый багаж будет у тебя за плечами!

Багаж, конечно, я вынес от туда богатый, да только никому, даже лютому врагу, его не пожелаю. Почти пять лет мучений, издевательств над человеческим достоинством, принудительного пичканья психотропными препаратами, опустошающими душу и ум, унижительного тотального надзора за любым моим шагом и словом. Пять лет абсолютного бесправия и изоляции от внешнего мира. В октябре 1981 года состоялась девятая по счету врачебная комиссия психиатров спецбольницы. Комиссия практически ничем не отличалась от восьми предыдущих. Те же дежурные вопросы о самочувствии, планах на будущее и т.д. Но на этот раз мне повезло. Комиссия сочла возможным выписать меня из спецбольницы для перевода в больницу общего типа Минздрава по месту жительства и продолжения там принудительного лечения. В декабре 1981 года состоялось выездное судебное заседание, на котором суд постановил удовлетворить ходатайство врачей.

Через месяц, 3 января 1982 года, в сопровождении медсестры и нянечки я покидал учреждение ЛА/155/7. В алма-атинском аэропорту рейс на Барнаул задерживался на 6 часов, и у меня было достаточно времени подышать воздухом вольной гражданской жизни, насладиться присутствием среди нормальных людей, одетых в красивые модные одежды. Я вглядывался в лица пассажиров, и они казались мне прекрасными. Я то и дело ходил в буфет и брал кофе, бутерброды, горячие сосиски, пирожные, газированную воду, мороженое — все то, что я не пробовал уже много лет. Сопровождавшие меня женщины мне доверяли, и я

насладился несколькими часами пребывания в безнадзорной обстановке, пока они мирно дремали в креслах зала ожидания. С нами были попутчики — два принудчика из других отделений тоже с сопровождавшими их медсестрами. Когда мы прилетели в Барнаул, сопровождающие позвонили в Краевую психиатрическую больницу и попросили прислать машину. Медицинский автомобиль с красными крестами доставил нас в приемный покой краевой психбольницы. Дежурный врач распределил по отделениям. Нас опять нарядили в больничную униформу.

В Барнауле я пробыл недолго, через несколько месяцев меня в сопровождении санитаря поездом отправили по месту жительства моей матери, которая переехала из Томской области на Алтай. Так я оказался в Бийской психиатрической больнице, практически рядом с домом моей матери. Теперь она могла часто навещать меня и приносить мне вкусную домашнюю еду.

Врачи Бийской больницы отнеслись ко мне доброжелательно. Они не пичкали меня таблетками, режим провинциальной психушки был мягкий. Вскоре разрешили гулять без надзора по территории у больницы, сколько душа пожелает. Разрешали надевать личные вещи. Медсестры и санитары тоже были ко мне благосклонны, я даже получил возможность погулять по городу. Иной раз я отпрашивался в кино или на концерт столичных артистов на местном стадионе. На субботу и воскресенье меня стали отпускать домой. Такая свобода мне, принудчику, была не положена. И медперсонал сознательно шел на нарушение режима, поскольку мне скрыто сочувствовали и доверяли.

В конце концов наступил конец моим мытарствам и унижениям. Меня вызвали на судебное заседание, на котором должны были снять принудительные меры медицинского характера. Вызвали скорее из любопытства, потому что в провинциальном городе душевнобольной по политическим мотивам — случай из ряда вон выходящий, можно сказать, экзотический. Удостоверившись, что я не вселяю в сердца ужаса, а связно и внятно разговариваю, опрятно выгляжу, суд решил не терзать меня принудительным лечением и отменил его. Из здания суда я вышел счастливым. Вот она, свобода, которой я ждал почти шесть лет!

Конечно, свобода была относительной. Меня поставили на учет в психдиспансере, куда я должен был являться каждые полгода для «душевных» бесед с психиатром. Также я был поставлен на учет в милицию, т.е. за мной был установлен негласный надзор. Но тем не менее душа веселилась и пела. В скором времени мне удалось устроиться на работу лаборантом в Бийский педагогический институт, а затем и добиться восстановления в Томском педагогическом институте на заочном отделении. Через год я получил диплом о высшем образовании.

Все это объясняется тем, что я на некоторое время по воле случая или судьбы выпал из поля зрения КГБ города Бийска и психдиспансера. После получения «вольной» я и моя мать заверили администрацию Бийской психбольницы, что я уезжаю в город Томск, где собираюсь жить у моей тети. И действительно было намерение поселиться в Томске, тем более что необходимо было заменить паспорт старого образца с томской пропиской. После моего отъезда администраторы больничные документы на меня в Томскую психбольницу. В местном КГБ были раздосадованы тем, что их не уведомили о моем отъезде и они не смогли должным образом проконтролировать мой переезд и вовремя отрапортовать своим коллегам из Томска о моем прибытии. Все-таки не так часто приходится им иметь дело с «подрывными элементами».

В Томске вышла неувязка с «видом на жительство». Муж родной сестры матери в последний момент заартачился и не дал согласия на прописку в его

квартире. Через неделю я вернулся с матерью в Бийск с новым паспортом и без прописки.

Заведомо ложные измышления гэбешников и психиатров

С новым и совершенно чистым паспортом, выданным в Томске, меня прописали в Бийске в обычном порядке, как вновь прибывшего. Кроме того, я воспользовался возможностью получить собственную комнату в новом девятиэтажном общежитии Бийского пединститута, куда устроился на работу, и прописаться именно в общежитии. В этом мне помог зав. кафедрой педагогики и психологии Жарков Сергей Маркисович, прекрасной души человек, который принял меня с глубокой симпатией и доброжелательностью. Моей работой он был вполне доволен. С ним я чувствовал себя, как у Христа за пазухой. Он был предпенсионного возраста и относился ко мне по-отечески. Разумеется, я не распространялся о моем прошлом. Года два или три я жил без какого-либо надзора со стороны врачей, милиции и органов госбезопасности. Не становился я и на учет в психдиспансере.

Проживая в общежитии, я снова оказался в привычной мне студенческой среде. Общался в основном со студентами, дружил с ними, ходил на студенческие «общаговские» дискотеки, отмечал с ними праздники и иногда высказывал свои политические взгляды, не вписывающиеся в рамки официальной пропаганды и партийной идеологии. Возобновил прослушивание западных радиостанций, увлекался полуподпольными магнитофонными записями песен Александра Розенбаума, Вили Токарева, Михаила Шуфутинского, Любки Успенской и Владимира Высоцкого. С некоторыми студентами спорил до хрипоты и постепенно попал в поле зрения наших бдительных органов, которые решили провести «зачистку» нелегальщины среди лаборантов и студентов. Заинтересовались и моей персоной.

Шел 1985 год. Горбачев только пришел к власти, все еще работали по обкатанной схеме и вели борьбу с инакомыслием. В конце июня я строил планы на лето. В Москве готовились к проведению XII Международного фестиваля молодежи и студентов. А в местном КГБ обнаружили, что выбывший без их ведома в 1982 году из Бийска в Томск поднадзорный и лаборант, проживающий в общежитии, который разводит там антисоветчину, — одно и то же лицо. Мало того, он еще владеет двумя иностранными языками. На фестиваль съедутся гости со всего мира. Вдруг этому «подрывному элементу» взбредет в голову отправиться в столицу и поведать иностранным студентам о карательной психиатрии и о помещении инакомыслящих в психиатрические спецбольницы? Ведь нельзя же позволить всяким там «душевнобольным антисоветчикам» порочить советский «самый гуманный строй в мире»! Решили перестраховаться: как бы чего не вышло.

4 июля 1985 года ко мне в комнату постучали. В это время я стирал белую летнюю рубашку. Открыв дверь, увидел троих незнакомых мне мужчин: один был в милицейской форме, другой — в белом халате, третий — в гражданской одежде, по-видимому, шофер. Посмотрев на меня, они заглянули в комнату:

— Где у вас тут больной?

— Какой больной? — спросил я.

— Это вы вызывали скорую помощь?

— Нет, не я. Никаких здесь больных нет. Тут какая-то ошибка.

— А Костин Владимир Константинович кто здесь будет?

— Ну, я Костин, — чуть помедлив, ответил я. К горлу под катил ком, я почуял неладное. Стараясь не выдать волнение, как можно тверже сказал:

— Уверю вас, тут какое-то дикое недоразумение или чья-то злая шутка.

Визитеры были в полной растерянности и, потоптавшись, удалились восвояси. У меня было время позвонить на работу матери и попросить ее срочно приехать, так как предчувствовал, что «скорая помощь» еще вернется. Я ушел из своей комнаты и отсиживался в комнате у двух студенток, с которыми у меня сложились дружеские доверительные отношения. По очереди мы выходили на общеэтажный балкон и смотрели на дорогу к общежитию, куда могла вновь подъехать скорая.

Вот одна из девушек, выходящая на проверку подъездного пути, вошла в комнату и прошептала:

— Володя, они опять приехали.

Я выбежал в коридор, затем на балкон и увидел стоявшую у подъезда «скорую», а чуть подальше — спешащую к общежитию маму. Надо было как-то ее встретить, ведь она не знала, что меня нет в комнате. Вместе с одной из девушек, Мариной, я начал спускаться по лестнице на третий этаж, где находилась моя комната. Мама уже прошла к моей комнате, но там было заперто. Тогда она направилась к лестнице, где меня уже караулили. Почти спустившись на третий этаж, я увидел маму и быстро пошел ей навстречу. Тут на глазах моей матери и Марины меня молниеносно схватили и защелкнули на моих руках наручники. Две женщины, пожилая и совсем молодая, женщины, пожилая и совсем молодая, были в шоке.

— Что вы делаете?! По какому праву?! — почти в один голос закричали они.

Взмыленный и вспотевший милиционер с торчащими в разные стороны волосами явно чувствовал себя неловко и попытался оправдаться, что, мол, у него приказ и что он схлопотал строгий выговор от начальства за то, что сразу меня не доставил по назначению, а уехал. Впоследствии от пожилой вахтерши, которая в тот день дежурила на вахте, я узнал еще одну любопытную деталь. Оказывается, перед тем как уехать после первого приезда, молодой человек в белом халате, санитар, звонил куда-то с вахты общежития и с кем-то яростно препирался по телефону. Его последними словами были:

— Я здорового человека в дурдом не повезу!

Дело в том, что ни санитар скорой помощи, ни милиционера не ввели в курс дела. Поэтому они поехали на вызов, предполагая доставить в психушку какого-нибудь суицидального или эпилептического больного, либо свихнувшегося от учебы студента. Мой облик и мой образ явно не соответствовали ожиданиям и весьма озадачили их. Потом им, конечно, популярно объяснили, что к чему, но санитар категорически отказался ехать во второй раз, и вместо него пришлось послать сотрудника КГБ, курировавшего учебные заведения. В наручниках меня вывели из общежития. Матери разрешили сесть со мной в машину. Я видел, как она переживала.

В приемном покое психбольницы по просьбе дежурного врача, женщины средних лет, с меня сняли наручники. Врач задала несколько дежурных вопросов о моем самочувствии и о месте работы. Она сказала, что на следующий день меня вызовут на консилиум врачей, которые решат вопрос о моем дальнейшем пребывании в больнице.

- 13 -

— Возможно, врачи тебя и отпустят домой, — попыталась она как-то обнадежить меня. — Потерпи до завтрашнего дня.

И вот я опять в окружении суетливо снующих туда-сюда завсегдатаев местной психушки. Медперсонал и большинство больных мне были знакомы, и приняли меня как давнего приятеля.

На следующий день меня вызвали в кабинет врача. Никакого консилиума я там не увидел. За столом сидел зав. отделением, рядом — врач отделения. Они справились о моем самочувствии, о моих планах на лето, не собираюсь ли я куда-нибудь «махнуть», например в Москву. Я ответил, что в Москву я вовсе не собирался. На мои вопросы о причинах моего принудительного помещения в психбольницу они отвечали путано, уклончиво, лукавили, явно что то недоговаривали и переводили разговор на другие темы. Добиться от них откровенных ответов мне так и не удалось. Отдельвались шутками, когда я пытался ставить вопрос ребром:

— Вы что всерьез полагаете, что я намеревался ехать на фестиваль? Во-первых, Москва закрыта для свободного въезда на время фестиваля. Я бы туда не попал, если бы даже захотел. Во-вторых, зачем мне это нужно? Что я забыл на этом фестивале?

Не ответили они и на мой вопрос о том, на какой срок мне придется здесь задержаться и почему свой законный отпуск я должен проводить в этих стенах из-за какого-то там фестиваля за тысячи километров отсюда.

Весь жаркий июль я провел взаперти среди убогих хроников и с тоской смотрел через зарешеченные окна на посетителей, навещавших своих родственников. Однажды в окно я увидел главврача, который в тот день дежурил. Он прогуливался вечером по территории, а затем уселся на толстое бревно, приваленное к оградке отделения совсем близко от моего окна. Он сидел ко мне спиной. Я решил спросить, долго ли еще мне тут «загорать».

Главврач, не оборачиваясь и соблюдая правила конспирации, негромко ответил:

— Володя, потерпи еще маленько. Как фестиваль закончится, сразу пойдешь домой.

Я был благодарен ему за честность и больше ни о чем его не спрашивал. Свой день рождения мне пришлось отмечать в больнице. Меня уже не выпускали, как три года назад, на территорию больницы или в город. Сестры и санитары разводили руками: рады бы, но не велено.

Когда фестиваль закончился, меня тут же пустили. Но на этот раз поставили на учет в Бийском психдиспансере, куда мне надлежало теперь периодически являться и отмечаться. В медицинских справках, выданных в психбольнице, я прочитал навороченный диагноз жуткого психического заболевания, а в графе «Причина госпитализации» было написано одно слово — «агрессия». Я просто поразился такому циничному и беспардонному вранью в медицинских документах. Вот уж воистину заведомо ложные измышления. Отпуск мне продлили на основании больничного листа, выданного в психушке.

Осенью, когда я вернулся на работу, надо мной начали сгущаться тучи. Как-то меня вызвал к себе в кабинет проректор института и завел неприятный разговор о моем недостойном поведении. С изумлением я услышал, что мое присутствие дурно влияет на студентов. Оказывается, пьянки и драки, происходившие в последнее время в общежитии, на моей совести. Якобы я спаиваю студентов, подстрекаю их на поножовщину, короче, веду аморальный образ жизни.

Я был возмущен до глубины души.

- 14 -

— Кто же вам напел такую ахинею? — спросил я. — Давайте спросим у коменданта общежития, директора студгородка, у вахтеров в конце концов. Ко мне у них никогда не было претензий. Они хотя бы раз видели меня в нетрезвом виде? С какой стати вы предъявляете мне обвинения?

Проректор признался, что такую информацию он получил от неких лиц, приходивших к нему вчера.

— Интересно получается. Приходят совершенно посторонние лица, докладывают вам об обстановке в общежитии и вы им верите. Почему-то ни студсовет, ни комендант, ни профком, ни директор студгородка не сваливают на меня ответственность и вину за происходящие иной раз в общежитии безобразия и эксцессы, не бьют тревогу и не сигнализируют вам. Что вообще происходит? Скажите честно, положив руку на сердце, вы хотите, что бы я уволился с работы? Ведь к вам приходили люди из КГБ?

Проректор, надо отдать ему должное, не стал отрицать, что он действительно хочет, чтобы я подыскал себе другое место работы, поскольку в КГБ очень недовольны тем, что я работаю в пединституте и живу в общежитии. Ему пообещали позвонить, дабы узнать, работаю ли я еще на старом месте. А он в свою очередь хотел бы, чтобы его впредь не беспокоили подобными звонками. Посему он предложил написать мне заявление по собственному желанию. Я

так и поступил, понимая, что плетью обуха не перешибешь. Я так и поступил, понимая, что плетью обуха не перешибешь. Старший бухгалтер пединститута, добрая, отзывчивая уже немолодая женщина, очень хорошо относившаяся ко мне и знавшая мою маму, пыталась заступиться за меня, когда узнала, что я увольняюсь. Ей без обиняков заявили:

— Он среди студентов антисоветчину разводит, вот мы его и увольняем. И нечего за него заступаться!

Через месяц я устроился на работу в среднюю школу заведующим школьной библиотекой и по совместительству учителем немецкого языка, где проработал десять лет. За эти годы произошло много перемен в стране: перестройка, гласность, развал Советского Союза, смена политического строя. В 1991 году я пришел к начальнику психдиспансера и попросил снять меня с «дурацкого» учета. Начальник согласился, что давно пора это сделать, и, любезно пожав мне руку, поздравил меня со снятием с учета, выдав соответствующий документ с печатью и подписью. А в 1994 году по моему запросу в прокуратуру Томской области мне прислали справку о моей реабилитации, в которой в частности написано: «К Костину В.К. были применены меры государственного принуждения по политическим мотивам. На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 3 и 5 Закона РФ от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» уголовное дело в отношении Костина В.К. 8 ноября пересмотрено и он реабилитирован».

В Бийске я вступил в городское отделение Общества «Мемориал» и являюсь самым молодым членом Общественного совета Бийского «Мемориала».